

Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича

(рассказанные им самим)



Глава шестая

Влюбчив, нетверд и ленив

«Пусть руку! Пусть ногу!..»

Не знаю, каким путем шли в нашу глушь письма, но все-таки, сложенные треугольниками, от мамы из Ленинграда и от папы неизвестно откуда с адресом «Полевая почта №...» и штампом «Просмотрено военной цензурой» они нас достигали. Потом случился перебой: с конца ноября от отца писем не было. Только в середине января принесли треугольник с адресом, написанным незнакомой рукой. Бабушка, еще не развернув треугольник, заплакала, а прочтя письмо, и вовсе ударилась в рев. Отец сообщал, что лежит в госпитале, тяжело раненный. На Донбассе под городом Дебальцево во время похода он шагнул в строю и курил. Шедший сзади солдат попросил докурить, отец повернулся, передавая «бычок», и больше ничего не помнит. Очнулся в полевом госпитале и узнал, что пуля, войдя под левую лопатку, прошла в нескольких миллиметрах от сердца, пробив бок и левую руку насквозь. Один врач руку хотел ампутировать, другой взялся спасти, но вопрос еще окончательно не решен.

— Боже мой! Коленька! Сыночек! — рыдала с причитаниями бабушка. Тетя Аня на нее рассердилась. — Радоваться должна, что живой! — Нюра, что ты говоришь! Ему же могут отрезать руку.

— Пусть руку, пусть ногу, лишь бы живой. Лишь бы живой! Лишь бы живой! — повторяла тетя Аня, как заклинание. — Почему он должен погибнуть ради этих мерзавцев?

Я догадывался, кого тетя имела в виду, и это меня немного смущало...

Ловкий еврей

Летом мы немного ожили. В Такте починили мельницу, и у нас снова появилась настоящая мука. Кроме того, меняли тряпки на еду. Сначала в пределах хутора. Потом на колхозных лошадях ездили за полтора километра в Калмыкию, на хутор Тегенур. Калмыки жили богато и за старую блузку или брюки щедро расплачивались маслом, сметаной, мясом и салом. Однажды в каком-то калмыцком дворе мы встретили старого еврея, просившего милостыню. Было тепло, но он стоял у крыльца в зимнем пальто с каракулевым воротником. На ногах у него были галоши с портянками, которые разматывали и торчали в разные стороны, а голова была ничем не покрыта, если не считать седых выходящих волос, окаймлявших обширную плешь. Воротник пальто серый, и само пальто, как мне сперва показалось, того же цвета. Приглядевшись, я увидел, что пальто на самом деле синее, а серым кажется оттого, что сплошь покрыто жирными вшами.

Старик запомнился мне на всю жизнь, и именно его я вспоминаю, когда слышу, какие евреи ловкие и как хорошо умеют устраиваться.

Ухом к земле

Не только письма, но и газеты («Правда» и какая-то местная) до нашего хутора доходили. Из них мы узнали весной 42-го, что наши войска не отступили, нет (таких слов сочинители сводок избегали), а, выполняя стратегические замыслы командования, отошли на заранее подготовленные позиции.



Вскоре заранее подготовленной позицией оказалась и наша местность. Витя предлагал мне приложить ухо к земле и послушать.

Я прикладывал, слушал. И слышал глухие удары. Будто кто-то из-под земли пытается пробиться наружу. Теперь я думаю, это было похоже на первые толчки ребенка в животе матери.

— Немцы бомбят Сальск, — объяснил Витя. — Сальск — это город в сотне километров от нас.

— Значит, — предположил я, — скоро будут бомбить и нас.

— Нет, — сказал Витя. — Нас бомбить не будут, потому что нас бомбить слишком невыгодно.

Поскольку я опять ничего не понял, Витя преподавал мне краткий курс экономики:

— Бомбы стоят очень дорого. Поэтому немцы бросают их не куда попало, а целятся в заводы, фабрики, электростанции, вокзалы. А у нас на хуторе нет ничего, кроме молочно-товарной фермы и конюшни. Витя знал все на свете, поэтому я каждый день принимал ухом к земле, и с каждым днем толчки ощущались все явственней.

А когда уже и через воздух стали доноситься канонады, мы отправились во вторую эвакуацию.

Ехали-приехали

Местные жители, работавшие в поле, заведя обоз, останавливались и молча провожали нас недобрыми взглядами. Но в одном месте выбежали к дороге с лопатами и граблями и, размахивая ими, стали кричать: — Шо, жиды, тикаете?

Сева открыл рот, хотел что-то сказать.

— Молчи! Молчи! — шепнула тетя Аня. — Тикайте, тикайте, — кричал самый горластый. — Далеко не вбежите. Немец вас догонит.

Все молчали. Было ясно, что люди эти могут расправиться с нами, не дожидаясь немцев.

Погрузились в эшелон. Где-то под Сталинградом переезжали по мосту через Волгу. Внизу плыли по течению горящие баржи, стелился над водой черный дым...

Это путешествие отличалось большей организованностью, чем первое. Пассажирам выдали так называемые рейсовые карточки, по которым в привокзальных магазинах можно было купить хлеб. На некоторых станциях нас высаживали и вели в баню. Сначала мылись женщины, потому что их было больше, потом мужчины. Однажды какая-то женщина, не успев помыться с остальными, оказалась голая среди голых мужчин. Меня удивило, что она никакого стеснения не выказывала, пыталась даже разговаривать. Мужчины же ее присутствием были весьма шокированы и отвечали ей, стыдливо отводя глаза. Когда она попросила дядю Костю потереть ей спину, тот отказать ей не посмел, но исполнял ее желание в большом смущении, усиленном присутствием сыновей и племянника...

Прибыли мы сначала в Куйбышев, потом в место с тремя названиями — Управленческий городок, станция Красная Глинка, пристань Коптев Овраг, — поселившись на краю городка, врезавшегося в край леса, в длинных, наскоро сляпанных бараках, никак не разгороженных, с двухъярусными нарами во всю длину. Живя в одном из этих барачков, я едва не совершил подвиг, который мог быть воспет советской литературой.

Как я не стал Павликом Морозовым

Сначала у меня произошло интересное в своем роде знакомство. Посланный за водой, я подошел к ведром к водоразборной колонке, что была невдалеке от барака. Поставил ведро, открутил кран, вода текла медленно. Подошли две женщины в

городских платьях. Одна отделилась на шаг, расставила широко ноги и, даже не подобрав подола, стала мочиться, гораздо эффективней, чем кран, под которым стояло ведро. Другая женщина сказала:

— Галина Сергеевна, как вам не стыдно! Здесь же молодой человек!

— Это не молодой человек, а мальчик, — возразила Галина Сергеевна, не прекращая процесса. — И ему, наверное, интересно посмотреть, как писают тети. Правда, мальчик?

Я покраснел, кивнул и потупил глаза. Я и раньше видел, как тети писают, приседая и широко разводя колени, но вот чтобы так, стоя, как коровы... Эпизод, сам по себе малоинтересный, давно бы забылся, но знакомство мое с Галиной Сергеевной продолжилось.

В бараке, где мы жили, контингент часто менялся. Какие-то люди его покидали, уступая место новоселам. На нарах шли непрерывные перемещения, в результате одного из них Галина Сергеевна стала моей соседкой.

Свету в бараке не было, поэтому все ложилось рано, как куры. Забегались на нары и пускались в долгие разговоры о войне, о прошлой жизни, о том, о сем. Однажды кто-то почему-то упомянул Сталина, и тотчас раздался громкий голос Галины Сергеевны:

— Чтб он сдох, проклятый!

Я до сих пор не забыл то растерянное молчание, которое наступило за этими словами. Потом кто-то сдавленно произнес:

— Как вы смеее так говорить?

— А что? — тихо отозвалась Галина Сергеевна. — У нас в Ленинграде все так говорят.

Тут и подавно все замолчали, а дядя Костя сказал тихо, но директивно:

— Ладно, пора спать.

Больше в тот вечер ничего сказано не было. Люди еще поворачались и стали постепенно засыпать, каждый на свой манер: кто засопел, кто захрапел, кто застонал во сне, и только я один долго не мог заснуть, ворочался и думал: почему взрослые так спокойно отреагировали на кощунственные слова? Почему никто из них не сволок преступницу с нар и не отвел куда следует? Неужели и наутро этого не случится? Но, если никто из взрослых не знает, что надо делать, придется мне постараться за них. Хотя я и слышал странные речи моей тети об «этих мерзавцах» и «этом рябом», но имя «Сталин» при этом не произносилось. И в моем сознании, с одной стороны, существовал сам по себе мерзкий рябой, а с другой стороны, был Сталин, великий вождь, которому я навеки благодарен за свое счастливое детство.

О подвиге Павлика Морозова я тогда слышал лишь краем уха, но «Судьбу барабанщика» Гайдара уже прочел и более или менее знал, как распознавать врагов и что с ними делать. Я смотрел в потолок и представлял, как утром пораньше пойду в милицию и попрошу, чтоб меня принял лично начальник, а не кто-нибудь другой. Меня, возможно, спросят, в чем дело. Я скажу, что дело очень важное, государственное, и довериться я могу только самому начальнику. Я вообразил себе начальника, мудрого и усталого человека с седыми висками. Он меня выслушает внимательно, выйдет из-за стола, крепко похмет мою руку и скажет:

— Спасибо, Вова! Ты оказался настоящим пионером!..

К слову сказать, пионером я не был и потом им так и не стал.

С мыслью о начальнике милиции я уснул. А утром, проснувшись, понял,

что идти в милицию не хочется. Я посмотрел на то место, где спала Галина Сергеевна, ее там не было. Я надеялся, что кто-то из взрослых успел добежать до милиции, и, пока я спал, преступницу арестовали. Но, выйдя на улицу, я тут же увидел Галину Сергеевну. Она на табуретке в тазу стирала какую-то тряпку. На лице ее не было заметно ни малейшего угрызения совести. Я смотрел на нее и думал, что ничего не поделаешь, в милицию идти надо. И опять подумал, что не хочется. Хотя надо. Но не хочется. Хотя надо.

Она подняла голову, и мы встретились взглядами.

— Ты что так смотришь на меня? — спросила она удивленно и улыбнулась. Улыбнулась, как женщины улыбаются мужчинам. — Нет, правда, что ты так смотришь? Ты, может быть, в меня влюбился?

— Нет! — закричал я. — Нет! — И убежал.

И, убежав, подумал, что, может, и правда влюбился.

И именно потому, что влюбился, не пошел в милицию. А может, не пошел, потому что был слишком ленив. Или идейно недостаточно тверд. Или недостаточно тверд, потому что слишком ленив. Да к тому же и влюбчив. Влюбчив, нетверд и ленив, почему и не удостоился крепкого рукопожатия начальника милиции. О чем впоследствии ни разу не сожалел.

Привет от Вани Чонкина

Как раз когда я писал эту главу, один из читателей «Новых Известий» полюбостовствовал: отразились ли мои детские впечатления в книге о похождениях солдата Ивана Чонкина? Отвечу: да как же они могли не отразиться? Представьте себе: если в детстве автор ездил на мерине по имени Ворошилов — мог ли он когда-нибудь выпустить этот образ из виду? Я и не выпустил, но, описывая в «Чонкине» животное, в результате упорного труда превратившееся в человека, не назвал его Ворошиловым. Сочли бы за циничный намек на Политбюро ЦК ВКП(б), которое в таком случае (гуляй, фантазия!) следовало изобразить в виде табуна, где пасутся на тучных пастбищах выхоленные Молотов, Каганович, Калинин, Жданов и примкнувший к ним жеребенок Шепилов. Такую сатиру писать легче легкого, но я не этим путем хотел идти и не тот смысл в свою выдумку вкладывал, когда дал своему лошадиному герою имя Осавиахиим. Теперь уже, наверное, мало кто знает, что аббревиатура сия означает популярное в 30–40-х годах «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству».

А вот безымянный завшивленный еврей в калмыцком селе и другой, незавшивленный, по фамилии Сталин (был и такой в самом деле, мне о нем рассказывал Семен Израилевич Липкин) слились в «Чонкине» в единый образ, который тоже никак не мог родиться, если бы не впечатления детства.

А воли Цоб и Цобз, обезумевшие от того, что их неправильно запрягли мальчишки, мне кажется, вообще напоминают весь сплоченный народ трудовой, который можно было 70 лет держать в ярме, понукать и бить батогами, пока люди не сообразили не только то, что их запрягают неправильно, а и то, что они и «правильно» запряженные многое теряют. А уж когда их распрягли — сами видите, что случилось...

Продолжение следует